

УДК 82
ББК 83.3

Т.М. Любомищенко

**«МОЯ ЖИЗНЬ» А. ЧЕХОВА
И «КОТЛОВАН»
А. ПЛАТОНОВА:
ПРОБЛЕМА ВХОЖДЕНИЯ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В НАРОД**

Рассматривается общность социально-философской проблематики, а также сюжетные и текстовые схождения повестей «Моя жизнь» А.П. Чехова и «Котлован» А. Платонова; показано, как сюжетная ситуация «вхождения интеллигенции в народ» становится важной составляющей русской культурной мифологии.

Ключевые слова: Чехов, Платонов, интеллигенция, народ, культурная мифология.

Любомищенко Татьяна Марленовна – канд. филол. наук, доцент кафедры литературы Таганрогского государственного педагогического института
Тел.: 8(634) 60-12-19
E-mail: tamarlen@mail.ru

© Т.М. Любомищенко, 2009 г.

Повесть А.П. Чехова «Моя жизнь» (1896) занимает особое место в творческом наследии писателя, хотя критика не уделила ей такого внимания, каким пользовались созданные в это же время «Палата № 6», «Скучная история», «Черный монах». Герой повести, Мисаил Полознев, сын известного и обеспеченного архитектора, убежден в том, что от богатства, положения в обществе и комфорта нужно отказаться, если они не заработаны физическим трудом. Мисаил уходит в «толпу простого народа», становится маляром в артели, а потом переезжает в деревню вместе с Машей Должиковой – экзальтированной молодой женщиной, которая на какое-то время увлеклась романтикой сельского труда (вплоть до того, что стала женой Мисаила) – и поселилась вместе с ним в заброшенной помещичьей усадьбе по соседству с железнодорожной станцией.

В исследовательской литературе сложилось устойчивое мнение о том, что в «Моей жизни» отражен своеобразный чеховский взгляд на толстовство [Скафтымов, с. 415]. А. Собенников высказывает иную точку зрения: «Видеть в Мисаиле тип "толстовца", "опрошеника" было бы ошибкой. Ставя героя в ситуацию праведничества, Чехов раскрывает не столько его моральные качества, или его «подвиг», сколько человеческое содержание, достоинство человека в жизни-страдании. При этом в ситуации-архетипе опыт героя именно индивидуальный, он не может ничему научить другого» [Собенников].

Перечитывая сегодня чеховскую повесть, трудно избежать ощущения узнаваемости сюжета. Жизнь «в толпе народа», заглохший сад, тоскливый пустырь, дом у железной дороги, ребенок (девочка), которая остается в новой жизни после смерти матери-страдалицы – все это, с одной стороны, узнаваемые знаки мира Андрея Платонова, а с другой – важнейшие мифологемы русской культуры XIX – XX вв.

Думается, что уместной была бы попытка прочтения Чехова через призму художественного опыта Платонова. Такая исследовательская методика позволила бы выявить новые аспекты проблемы «Чехов и литературная традиция». Подходы к ней намечены в работе М.О. Чудаковой «Чехов и французская проза XIX – XX вв. в отечественном литературном процессе 1920 – 30-х гг.». По мнению автора статьи, двадцатые годы – это эпоха категорического отталкивания от Чехова как писателя, который был «безнадёжно закапсулирован революцией в своем ушедшем времени и исчезнувшем месте» [Чудакова, с. 368]. Однако в тридцатые годы литература «сдвигалась от XX-го к XIX веку»: «На литературную сцену выступили вновь полутона <...> Формировался тот неопределенно-лирический универсальный повествовательный язык, который на долгие годы стал спасительным для тех, кто не хотел войти в официальное русло» [Там же, с. 374].

Обоснованность такого подхода к проблеме чеховской традиции формируется и в самом чеховедении. «Уж если искать близких Чехову мыслителей, то следует обратиться не к его современникам и предшественникам, а к следующим поколениям. Русский писатель не повторял философские зады, не популяризировал чужие идеи, а был явным предтечей философской мысли XX века», – справедливо отмечает В. Линков [Линков, с. 300].

Подобное сопоставление, как нам представляется, необходимо начинать с выявления общих сюжетных праоснов двух произведений. Ю.М. Лотман отмечает: «Иногда позднейшие тексты дают даже более удобную основу для реконструкции мифологической праосновы текста» [Лотман, с. 225]. Выявив «общую мифологическую праоснову» в повестях, разделенных историческим и культурным эпохам, но освещающих одну и ту же проблему, мы могли бы более доказательно говорить об особенностях ее реализации в каждом конкретном случае, т.е. об авторской индивидуальности и ее обусловленности социальными, биографическими обстоятельствами, личностными и творческими качествами писателя.

Думается, что в случае с «Моей жизнью» и «Котлованом» можно говорить об одной из наиболее общих архетипических схем: выход из замкнутого пространства, преодоление некоторого другого пространства (пространства испытания) – возвращение в замкнутое пространство, но уже с обретением нового статуса. Данная сюжетная схема блестяще рассматривается В.Я. Проппом применительно к фольклорной волшебной сказке

[Пропп, с. 37 – 90]. Ныне предпринимаются весьма успешные, с нашей точки зрения, попытки рассмотрения особенностей реализации этой сюжетной схемы в литературных произведениях, о чем свидетельствуют, в частности, материалы монографии М.Ч. Ларионовой «Миф, сказка и обряд в русской литературе XIX века» [Ларионова].

Возвращаясь к сопоставлению «Моей жизни»¹ и «Котлована»², можно сказать, что Платонов не просто воспроизводит в новых культурно-исторических и эстетических условиях известную архетипическую ситуацию выхода в ее «общем» виде. Подобно Чехову, Платонов раскрывает ее относительно проблемы вхождения интеллигенции в народ. Именно этим обусловлена не только общность проблематики и центрального персонажа «Котлована» и «Моей жизни», но и целая система сюжетных и текстовых переключек.

Уже в первых строчках обоих произведений – насильственное выдворение персонажа из замкнутого пространства: «Управляющий сказал мне: "Держу вас только из уважения к вашему почтенному батюшке, а то бы вы у меня давно полетели" (Моя жизнь, с. 9). «В день тридцатилетия личной жизни Воцеву дали расчет с небольшого механического завода, где он добывал средства для своего существования» (Котлован, с. 70). Изгнание с работы сопровождается оставлением дома: «Воцев взял на квартире вещи в мешок и вышел наружу, чтобы на воздухе лучше понять свое будущее» (Там же). Покидает дом и чеховский Мисаил. Примечательно, что для обоих этот процесс обретает некоторую дискретность: Мисаил перед окончательным уходом из дома перебирается в «хибару»-пристройку, а Воцев набредает на барак в степи, где спят строители котлована.

Именно в этот момент происходит первая встреча героев с «толпой народа». Для Мисаила это строители железной дороги, «чугунка». Для Воцева – спящие в бараке строители котлована. Герой Чехова разделяет общее для всех обывателей презрительно-брезгливое отношение к оборванцам и осторожно обходит их. Воцев же вглядывается «в лицо ближнего спящего – не выражает ли оно безответного счастья удовлетворенного человека» (Котлован, с. 77) и укладывается на ночлег среди этих незнакомых ему спящих людей. В традиционной культуре сон – эквивалент смерти, погружение в сон – естественное начало путешествия-испытания.

Итак, герой-интеллигент выходит в народ. Представляется, что в платоновской повести показаны два типа интеллигента, в совокупности изоморфные чеховскому Мисаилу Полозневу. Это «старый» интеллигент инженер Прушевский, повзрослевший вариант Мисаила Полознева, и «новый» – Воцев.

Можно ли считать Воцева интеллигентом? Думается, в определенном смысле, да. В условиях формирования нового социума, смещения прежних сословных рамок, интеллигенцию характеризует главная черта –

стремление осмыслить происходящее. Герой, задумавшийся «о плане общей жизни», – это интеллигент новой советской формации. Интересно, что эту особенность Вощева иронически осмысливает строитель котлована Софронов: «Ты, наверное, интеллигенция, той лишь бы посидеть да подумать» (Котлован, с. 79).

Своеобразным двойником чеховского Мисаила в повести Платонова является и Прушевский: «Инженер Прушевский уже с двадцати пяти лет почувствовал стеснение своего сознания и конец дальнейшему понятию жизни (Полозневу в начале повести Чехова 25 лет. – Т.Л.)... вместо надежды ему осталось лишь терпение... существует срок, когда придется скончаться, не сумев заплакать... на свете будет жить только его сестра, но она родит ребенка и жалость к нему станет сильнее грусти по мертвому разрушенному брату» (Котлован, с. 87]. Напомним, что единственный близкий чеховскому герою человек – это его сестра Клеопатра. Она рождает девочку, но сама умирает при родах, поручая заботиться о ребенке своему брату. Ситуация сопоставима с платоновской: Воцев, Прушевский и строители котлована нежно заботятся о девочке Насте, мать которой умерла, и «жалость к ней» должна помочь преодолеть экзистенциальную трагедию.

Утопическая мечта Прушевского об общепролетарском доме вместо «старого города, где и посейчас живут люди дворовым огороженным способом» (Котлован, с. 86) – это, по сути, модернизированный вариант жизни среди мужиков Мисаила Полознева с его отрицанием старого города: «Город лавочников, трактирщиков, канцеляристов, ханжей, ненужный, бесполезный город, о котором не пожалела бы ни одна душа, если б он провалился сквозь землю» (Моя жизнь, с. 279). Однако «общественная» мечта Прушевского не может помочь ему преодолеть пропасть, которая отделяет его от простых рабочих. Не случайно Козлов гонит инженера, заснувшего ночью среди рабочих в бараке, «на свою квартиру»: «наши рабочие еще не подтянулись до всего понятия, и вам будет некрасиво нести должность» (Котлован, с. 99).

Чеховский Мисаил Полознев, как и Прушевский, пытается устроиться среди мужиков («мы, маляры» (Моя жизнь, с. 218); «мы, бедные» (с. 226)), но так и остается чужим в их массе. «Я привыкал к мужикам, и меня все больше тянуло к ним. В большинстве это были нервные, раздраженные, оскорбленные люди; это были люди с подавленным воображением, невежественные, с бедным, тусклым кругозором, все с одними и теми же мыслями о серой земле, о серых днях, о черном хлебе...» (Моя жизнь, с. 256). Эта реплика явно принадлежит персонажу, который оценивает свое пребывание среди мужиков рассудочно, извне, а не изнутри народной жизни.

И Прушевский, и Мисаил так и не смогли «войти в народ». Этот путь завершает лишь «новый интеллигент» – платоновский Воцев, который входит в мир, соприродный его сознанию.

Важным фактором мотивации «выхода» героев Чехова и Платонова за пределы привычного социума становится разочарование в прежней вере и попытка обрести новые духовные основы. Исследователи творчества Платонова давно говорят о том, что его художественно-философская концепция зиждется на представлениях о семье, в которой отец играет роль идеолога, социального организатора, а мать является носителем природного, интуитивного начала [Шубин, с. 255]. Чеховский Мисаил еще ребенком потерял мать, но у него есть отец, носитель и проводник авторитарной идеологии. В облике старшего Полознева явно проступают черты сурового Бога. Не случайно он – архитектор – похож на старого католического органиста.

Однако идея служения старому божеству профанируется. Отец бьет Мисаила зонтиком, а потом этим же зонтиком указывает на звезды и высокопарно рассуждает о ничтожности человека в сравнении со вселенной. Страх перед отцом-божеством постепенно покидает Мисаила. В финале повести герой открыто отрекается от отца, хотя это и нелегко: «Я люблю вас...» (с. 277) и объясняет свое отречение несостоятельностью отцовской идеологии: «... на этом самом месте я умолял вас понять меня, взвешивать, вместе решить, как и для чего нам жить, а вы в ответ заговорили о предках, о дедушке, который писал стихи. Вам говорят теперь, что ваша единственная дочь безнадежна, а вы опять о предках, о традициях...» (Моя жизнь, с. 277). Поклонение отцу, основанное на страхе, изжило себя, устарело, что подчеркивают ветхозаветные реминисценции. Отец сравнивает себя с Иовом – праведником, усомнившимся в логичности поступков Бога.

Профанируется идея религиозного служения и в платоновском «Котловане». Поп, стриженный под фокстрот, является стукачом и доносчиком, тайным агентом активиста. Герои Платонова делают нелепую попытку осовременивания веры, потому что ушла прежняя убежденность в незыблемости миропорядка. «Я не чувствую больше прелести творения, – говорит поп Чиклину, – я остался без бога, а Бог без человека» (Котлован, с.137] .

Что же приходит на смену прежней религии? Старший Полознев произносит речи о святом огне («Этот огонь добывался тысячи лет лучшими из людей»), понимая под ним то духовное знание, которое отличало истинного интеллигента от толпы. Но не об этом ли огне рассуждает и платоновский Воцев, задумавшийся «среди общего производства» о плане общей жизни? Однако для отца Мисаила рассуждения о духовности потомственного интеллигента превратились в ритуал, следование устаревшим образцам. Воцев же на наших глазах превращается в русского интеллигента, придавая новый смысл демагогически затертым понятиям.

Указывая на сюжетные схождения двух повестей, хочется отметить присутствие в обеих традиционного чеховского мотива «толстых» и «тонких». Так, жена Пашкина – женщина «с красными губами, жующими»

ми мясо», «на холостом ходу всеми клапанами работает» (Котлован, с. 93). У Чехова инженер Должиков и его дочь – тоже «толстые»: «полный, здоровый, с красными щеками, с широкой грудью» (с. 204) инженер отражается в Маше: «она показалась мне в этот раз очень похожей на своего отца, у которого лицо было широкое, румяное...» (Моя жизнь, с. 228).

Объединяет два произведения и мотив призрачности любви женщины. Любовные отношения с Юлией для героев «Котлована» Чиклина и Прушевского прежде были туманно-невозможны, потому что она «буржуйка», по этой же причине невозможны и теперь... Не обретает счастья во взаимоотношениях с женщинами Мисаил Полознев; утомленная жизнью среди мужиков, его покидает Маша; стесняется своей тайной страсти к «пролетарию» Аня Благоева.

Безусловно, важен для обеих повестей мотив ребенка, традиционный для русской классической литературы. В рассматриваемых нами произведениях он реализуется на уровне текстовых переключек. Ребенок (девочка, будущая женщина, начинающая новую жизнь) произведен на свет женщиной-страдалицей, отвергнутой обществом (Юлия и Клеопатра).

Можно говорить и об общности пространственных моделей, лежащих в основе повестей Чехова и Платонова. Схема перемещения в пространстве платоновского героя условно может быть представлена так: город – пространство смерти (крестьянские гробы) – деревня; у Чехова: город – пространство смерти (кладбище, на котором работают маляры) – деревня. Проявляются и другие общие для двух произведений пространственные знаки: бойня в повести Чехова («три мрачных сарая, от которых несло удушливой вонью» (с. 233) соотносится с сараями, в которых у Платонова крестьяне во время раскулачивания прячут мясо забитой домашней скотины: «Из сарая наружу выходил дух теплоты... и Настя зажмурилась от вони глаза» (Котлован, с. 148). В обеих повестях важную роль играет мифологема дома у дороги: дом шоссевого надзирателя у Платонова, вокзал в Дубечне у Чехова. Мельница в «Моей жизни» и кузница в «Котловане» становятся местом обитания обиженного отщепенца (Степан у Чехова – медведь-молотобоец у Платонова) – мельница и кузница в традиционной культуре маркируют границу обжитого пространства.

Интересно и то, что в повестях Чехова и Платонова показано постепенное расширение пространства заброшенного пустыря, «экспансия пустыни» [Савкин]: «Позади большого дома был старый сад, уже одичавший, заглушенный бурьяном и кустарником» (Моя жизнь, с. 210) – «Все находилось в прежнем виде, только приобрело ветхость отживающего мира; уличные деревья рассыхались от старости и стояли давно без листьев, но кто-то существовал еще, притаившись за двойными рамами в маленьких домах» (Котлован, с. 105).

Обе повести сближает и мнимость финала. Слияние интеллигенции с народом вроде бы состоялось. Чеховский Мисаил уже не вызывает преж-

него недоумения у горожан, его страдания и терпение тронули сердца городских жителей. Однако он вынужден жить среди людей, которых не любит и не уважает. С его новым статусом рабочего человека смирились, но наставления Мисаила даже ребятам-малярам кажутся бесполезными и скучными.

Воцех у Платонова в конце своих странствий также приобретает признание народа. После смерти активиста он «встал на ноги и сказал колхозу: «Теперь я буду за вас горевать! – Просим!! – единогласно выразился колхоз» (Котлован, с. 167]. Воцех приводит мужиков «в пролетариат зачисляться». Однако и его почти религиозное подвижничество не приводит мир к состоянию гармонии. В финале платоновской повести реализуется метафора «котлован – могила». Смерть Насти показывает, что созидательные усилия строителей новой жизни неизбежно оборачиваются разрушением. В финале чеховской повести тоже развивается тема смерти. К могиле сестры приходит Мисаил – и с ним девочка, дочь Клеопатры, «радостная, счастливая». И в этом безотносительном счастье ребенка, который будет расти в любви, великая чеховская надежда на то, что гармония страдания, терпения и созидания возможна.

Итак, в контексте сюжетной парадигмы вхождения интеллигенции в народ, в основании которой лежит архаическая схема выхода-преодоления-возвращения, Чехов и Платонов оказываются неожиданно близки. Не только философские, но и сюжетно-текстовые сближения свидетельствуют о том, что Платонову близок тот «универсально-лирический язык» (М. Чудакова), который привнес в литературу Чехов. Однако мироощущение Платонова значительно трагичнее, его героям отказано в надежде на созидание гармонии, и герой-интеллигент сливается с народом в общем страдании, уходя вместе с ним в «пропасть котлована».

Примечания

¹ Произведение А.П. Чехова «Моя жизнь» цитируется по изданию: *Чехов А.П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. Соч. в 18 т. М., 1974 – 1982. Т 13. В круглых скобках после названия указаны страницы.

² Примеры из произведения А. Платонова даны по изданию: *Платонов А.П.* Котлован // *Платонов А.П.* Живя главной жизнью. М., 1989

Литература

Ларионова М.Ч. Миф, сказка и обряд в русской литературе XIX века. Ростов н/Д., 2006.

Линков В. «Ничто не проходит бесследно». (О повести А. Чехова «Моя жизнь») // Вопросы литературы. 2005. № 3.

Лотман Ю.М. Происхождение сюжета в типологическом освещении // Лотман Ю.М. // Избр. статьи: в 3 т. Таллинн, 1992. Т.1.

Протт В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2004.

Савкин И.А. На стороне Платона. Карсавин и Платонов, или Об одной не-встрече // Творчество Андрея Платонова. Исследования и материалы. Библиография. СПб, 1995.

Скафтымов А. Нравственные искания русских писателей М., 1972.

Собенников А.С. Чехов и христианство. URL: http://palomnic.org/bibl_lit/obzor/chehov_/sobennikov/

Чудакова М.О. Чехов и французская проза XIX-XX вв. в отечественном литературном процессе 1920-30-х гг. // Избранные работы. Т. 1: Литература советского прошлого. М., 2001.

Шубин Л.А. Созревающее время // Поиски смысла отдельного и общего существования. М., 1987.